

Александр Иванович Куприн

Извозчик Петр



Александр Куприн

Извозчик Петр

«Public Domain»

1924

Куприн А. И.

Извозчик Петр / А. И. Куприн — «Public Domain», 1924

«Глубокая зимняя ночь. Синий снег. Черные столетние ели, в белых лапчатых охабках. Я еду на извозчике через гатчинский парк, от балтийского вокзала до варшавского (обычная провинциальная прогулка). Узкая дорожка, давно накатанная, блестит полированной сталью. Сладок и крепок морозный воздух...»

Александр Иванович Куприн Извозчик Петр

Глубокая зимняя ночь. Синий снег. Черные столетние ели, в белых лапчатых охабках. Я еду на извозике через гатчинский парк, от балтийского вокзала до варшавского (обычная провинциальная прогулка). Узкая дорожка, давно накатанная, блестит полированной сталью. Сладок и крепок морозный воздух.

Старая серая, в коричневой гречке, кобыла бежит непринужденной собачьей рысью. Извозчик распустил возжи. По всему вижу, что ему хочется поговорить по душам. Изредка замахнется кнутом на лошадь, но не ударит, а лошадь в ответ рассеянно хлестнет хвостом.

Старый, древний быт. Быт, проклятый критиками, создавшими презрительно унижительное словечко для иных писателей – «бытовик». Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок, песен, обрядов – почему в них всегда жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в общей жизни?

Да. Я знаю с безошибочной точностью, что сейчас произойдет. Мы подъедем к варшавскому вокзалу. Я спрошу извозчика:

– Сколько?

Он непременно ответит:

– Чай, не обидите, Александр Иванович. Тогда я спрошу:

– Тебе выслать псковский бутерброд?

Он ответит со знакомой мне хитрой конфузливостью:

– Если ваша милость будет... Прикажете подождать вас? Старому татарину-слуге я скажу:

– Бабай (старик), или иногда Отай (отец), вынеси моему извозчику псковский бутерброд!

Он не будет спрашивать о подробностях. И мне, и ему, и извозчику сто лет знакомо, как делается это кушанье. Разрезают вдоль французскую пятикопеечную булку, смазывают ее с обеих сторон маслом, прокладывают двумя большими кусками швейцарского сыра, а в середину втискивают ломоть ветчины. Почему «псковский», нам всем неизвестно.

Но татарин сам понимает, что к этому псковскому угощению полагается не водка, а пиво. От водки извозчика развозит, и он потом зябнет, пиво же дает теплоту. И мне больше не о чем заботиться.

Как зовут этого извозчика, я не знаю. Спины у всех извозчиков одинаковы. Да, впрочем, может быть, одна из наших тягчайших вин та, что мы никогда не удосужились поглядеть в лицо извозчика, разнощика, конюха, землекопа, каменщика, банщика и так далее, хоть и ехали на их спинах. Но иные ночные разговоры помню четко и любовно.

– Много ли сегодня выездил?

– Брось, Александр Иванович. На керенки считать? А чо мне с ними делать? Избу оклеивать, или.....?

– Да ведь радовался же ты, дурак, революции?

– Что и говорить, милый, все мы дураками были. Небось и ты? Да нет, ты послушай, барин, как я раньше жил. Послушай только!

Он бросает возжи, поворачивается ко мне и начинает загибать черные (вижу, не видя) корявые пальцы.

– Выезжаю я из Пижмы в город в восьмом часу утра. Овес со мною, собственный, не купленный. Положил гривенник. Ехать домой обедать в Пижму пять верст мне не расчет. Обедаю в трактире у Веревкина. Первым делом – щи. С убоиной. Опять гривенник. Щи такие, что

ложкой не проворотишь. Потом на пять копеек каши, пшенной или гречневой. Самое чистейшее подсолнечное масло.

Хлеба, сколько хочешь. Черный – бесплатно, ситного крауха – копейка. Считаешь? Потом чай. Пятачок пара. Кипятку – сколько хочешь. Ну, иногда мерзавца тяпнешь; или угостишь кого. Всего на всего сколько? Тридцать копеек. Да еще из них шестерке на чай две копейки. И сыт, и пьян, и в тепле сажу. Это за тридцать копеек. А выезжу два с полтиной. Так мне, милый, денег некуда было девать. Никакой царь богаче меня не жил...

Замолкает. Против этой бытовой логики никак не попрешь.

Замечаю немного уныло:

– Лошадь-то как у тебя исхудала.

Он безнадежно машет кнутом.

– Что говорить. Одно основание осталось...

Тут бы, кажется, и все о моем неведомом извозчике, если бы не один случай, когда русская светлая душа улыбнулась мне с суровой и нежной лаской.

Стоял мокрый октябрь 1919 года. Нам жилось необычайно трудно. В очередях выдавали клюкву. Это было праздником. Обыкновенно – жмыхи. Пробовали ли вы когда-нибудь есть сухой репейник? Дизентерией хворали я и моя девятилетняя дочь. Мать совсем сбилась с ног, ухаживая за нами обоими. И вот вдруг, приходит старая женщина, в платочке, с кульком подмышкой. Отворяю ей калитку, думаю – мешочница. Спрашивает:

– Здесь живет Александр Иванович?

– Это я. Что нужно?

– Ты мужа моего знаешь? Извозчика?

– Извозчика? Ну как же, отлично знаю (лгу).

– Извозчика Петра?

– Вот, вот, именно Петра.

– Так вот послал он меня к тебе. Умирает он, муж-то мой, извозчик Петр. Отец Иоанн его вчера сообщал. Водянка у него. Ноги распухли и к сердцу вода подступает. Захотел он кое-чем распорядиться перед смертью. И тебя вспомнил. «Скажи, что мы от него обиды никогда не видали. А ему, может быть, плохо живется. Так отнеси что-нибудь из съестного. Скажи, что от извозчика Петра на память».

И развернула кулек. Там был печеный черный хлеб, фунтов пять муки, шесть яиц и телячья лопатка – «Вчера своего теленочка зарезали».

Как мы ни старались всучить этой милой бабе денег – ничего не вышло. Правда, перед занавеской из зеленого кавказского крученого шелка она не устояла. Но, ведь, женщина – всегда женщина.

Хотите мораль из этой отрывчатой повести?

Вот она: как легко было в России быть добрым. А мы этого и не подозревали.